

Новая Польша 7-8/2001

0: РОССИЯ

Не вижу смысла прикидываться белой вороной и скрывать болезнь, гложащую любого поляка; наоборот, ее нужно признать и привыкнуть, в конце концов, обходиться с ней по возможности беспристрастно. Итак, поляки и русские друг друга не любят. Точней, испытывают друг к другу самые разные неприязненные чувства, от презрения до ненависти, что, впрочем, не исключает какой-то непонятной взаимной тяги, всегда тем не менее, окрашенной недоверием. Между ними стоит – воспользуюсь словами Джозефа Конрада – incompatibility of temper. Может быть, любой народ, если смотреть на него как на единое целое, а не сообщество личностей, способен лишь оттолкнуть, и соседи узнают на его примере одну только неприятную правду о людях? Полякам, не исключая, известно о русских то, о чем те и сами подозревают, но не хотят себе в этом признаться, — и наоборот. Поэтому неприязнь к полякам у националиста Достоевского — что-то вроде самообороны. Уважительно он отзывается о них только в „Записках из Мертвого дома”, хотя и здесь сотоварищи по каторге, бронированные католичеством и патриотизмом, на каждом шагу подчеркивающие свою чужеродность, если не прямое превосходство над прочими, не пробуждают в нем теплых чувств. Похоже, каждое столкновение с русскими полякам в тягость и настраивает их на самозащиту, поскольку разоблачает перед самими собой.

Описать запутанные истоки распри так же труд но, кик причины застарелой вражды двух семейств, испокон веку живущих на одной улице; они могли бы показаться чем-то сугубо местным и провинциальным, не скрывайся за ними начатки событий мирового масштаба. Россия сумела стать такой, какой стала, только упразднив граничившую на юге с Турцией польско-литовскую республику (...)

Обычно говорят, что поляки недоброжелательны к русским, помня о пережитых обидах. Отчасти это так. И корни здесь уходят куда глубже двух последних веков, а любые перемены в Европе свидетельствуют: при любых внешних сдвигах основа остается прежней. Ее не коснулись ни революция во Франции, ни октябрьский переворот в России, ни послевоенный приход к власти коммунистов в Польше. Может быть, каждая цивилизация несет отпечаток того периода, который был для нас ключевым. Франция обязана всем своему городскому сословию — силе созидательной и мощной уже за два столетия до Революции. А в Польше в эту эпоху складывалась дворянская культура, и польский крестьянин или рабочий по сей день колют ею глаза русскому, сплошь и рядом неся на себе ее следы, почему и получают от него злорадную кличку „пана”.

Начало всему — шестнадцатый и семнадцатый века, Сейчас трудно себе даже представить, что польский язык — язык господ, к тому же господ просвещенных—олицетворял изысканность и вкус на востоке до самого Полоцка и Киева. Московия была землей варваров, с которыми — как с татарвой — вели на окраинах войны, но которыми особенно не интересовались: в тогдашней польской словесности чаще встретишь портрет венгра, немца, француза или итальянца, нежели упоминание о подданных русского царя, У этих последних авторы отмечают непостижимую покорность произволу властей, склонность нарушать данное слово, коварство и высмеивают дикость их обычаев (так французам казались дикими обычаи Сарматии). И движение идей, и колонизация лесостепной зоны шли с запада на восток. Все ценное — образцы ремесла, архитектуры и письменности, спора гуманизма и Реформации — приходило в Польшу из Фландрии. Германии, Италии. Если какие заимствования с востока и были, то — через посредство Великого торгового пути — лишь из турецких земель, особенно по всем, что касалось сбруи, упряжи и соответствующего словаря. Московия же той поры, понемногу превращалась в Россию, при всем ее большем или меньшем могуществе не представляла собой для поляков ничего привлекательного. Оставившие в польской культуре несводимый отпечаток XVI и XVII столетия для России наступили лишь в XIX веке. Из этого ощущения пустынной полосы со стороны востока у поляков сложился образ России как чего-то запредельного, находящегося за краем света. Свое поражение в войне поляки встретили недоуменно, как восприняли бы, наверно, победу татар: если в ней и крылся какой-то смысл, то разве что наказания за грехи. (...)

Побежденные презирали победителей, не видя в них ни малейших достоинств, кроме слепого послушания приказу. А оно раздражало. Закрадывалась мысль: да, вы сильны, но какой ценою? Напомню, что между русскими и польскими писателями, — как правило, эмигрантами, жившими в Париже, — не умолкал спор, в котором ни одна из сторон не щадила другую. Антипольские стихи Пушкина дышат гневом на безумную гордыню побежденных, не признающих, что проиграл и бесповоротно, а все еще мечтающих о возмездии, хитрящих и настраивающих дипломатические канцелярии Европы против России. В конце концов, в этих строках нет ничего, кроме проклятий народу, который пытается отстоять свою независимость. В них еще жива

память о давнем соперничестве: существование самостоятельной Польши снова поставило бы в повестку дня вопрос, кому должны отойти Полоцк и Киев, иначе говоря, — быть или не быть Российской Империи. Не зря Пушкин предсказывает, что „славянские ручьи сольются в русском море”.

Моральная ситуация польского поэта, революционера и союзника итальянских карбонариев, была, понятно, не в пример лучше, чем у его собрата по перу (и товарища, пока их не развела политика), наполовину узника царского двора. Жестокий антироссийский памфлет Мицкевича, написанный стихами, до сего дня образцовыми по лаконизму, попадает точно в цель как раз потому, что ненависть к самодержавию соединяется здесь с сочувствием к его жертве — народу России. Увиденное польским поэтом по сути, не расходится с гоголевскими сатирами, хотя есть тут и нечто новое: все-таки на страну смотрит иностранец, чьи привязанности не смягчают критического взгляда. Его приводит в ужас бесчеловечность этих просторов, бесчеловечность отношений между людьми, пассивность и апатия подданных. И сам населяющий эту страну народ пугает его, как бесформенная глыба, которой еще не коснулся искусный резец истории (...)

Традициям ли благодаря, католическому кодексу морали или принадлежности к Западу, но поляки так или иначе чувство вали свое превосходство. Их бесило какое-то оловянное спокойствие в глубине русского характера, долготерпение русских, их упрямство, их чуждое людям обдуманного компромисса стремление к крайностям, отчего и память о понесенном разгроме была особенно унижительной. А для русских польская привычка к условным реверансам, улыбкам, вежливости и лести выглядела пустой формальностью и потому отдавала фальшью. Они, со своей стороны, пестовали в себе чувство превосходства над легковесными, неглубокими, мотыльковыми поляками с их раздражительным гонором и тягой к самосожжению в героическом и бессмысленном порыве. Достаточно проникательные, чтобы не пугать мучимую отсталостью от Запада, более старую культурную формацию с нечистой совестью прихлебателей самодержавия, они вполне отдавали себе отчет в том, почему в польском воздухе носится так и не брошенное по их адресу слово „варвары”. Их возбуждало именно то, что отталкивало: поэтичность, ирония, легкое отношение к жизни, латинский церковный обряд. (...)

Именно наполеоновская легенда окончательно кристаллизовала политические установки поляков, всегда принимавших за аксиому, будто свобода — это „веяние Запада”. Позже, надеясь свергнуть царей и тиранов, они ставили на демократическую революцию. Но революции гасли без видимых результатов, а Крымскую войну даже при желании не удалось бы выдать за крестовый поход.

На протяжении всего девятнадцатого века в поляках укреплялось что-то ироде „комплекса Кассандры”. Если исключить минутные, всегда несколько риторические приступы гнева и оставить в стороне двух таких ярких русофобов среди пишущей братии, как Карл Маркс и маркиз де Кюстин. то поляки постоянно сталкивались с непостижимой для них любовью западноевропейцев к России, и к ее символу — власти русского царя. Сколько они ни кричали, что на просторах Евразии зреют гигантские амбиции и гигантские возможности, союзники, вежливо выслушав все это, отравлялись за сведениями о неблагонадежных элементах в российское посольство. Поэтому чувства Поляков к Западу всегда оставались но меньшей мере двусмысленными, а то и втайне злорадными.

Казалось, борьба с царизмом должна была породнить польских и русских революционеров. Но, чтобы там ни толковали учебники, прочный союз между этими одинаково готовыми пожертвовать собой и одинаково образованными (поскольку принадлежали и там, и здесь к просвещенным классам) людьми затруднялся той же incompatibility of temper, иными словами — различием исторических формаций. Даже самые радикальные поляки опирались на богатейшие внутренние ресурсы, любя собственное прошлое и потому — зачастую бессознательно — видя в революции не начало чего-то, нигде и никогда не существовавшего в помине, а средство распространить на всех давние парламентские привилегии дворянства. Если революция несла с собой справедливость, то в первую очередь ей предстояло упразднить господство одних народов над другими, восстановив тем самым нарушенную преемственность государственного существования. Стремление реформировать общество всегда шло у нас рука об руку со стремлением к независимости, но поскольку это последнее объединяло (пусть не во всем) и постепенцев, и консерваторов, то острота наиболее радикальных программ притуплялась. Другое дело — русские революционеры: их в ту пору занимало совсем иное. О своем суверенном — да еще как! — государстве они могли думать лишь с горечью. Ничто — ни первейшая опора трона, религия, ни прежние органические устои, которых они не любили, видя в них только цени и всевластие царей, — не сдерживало их мечтаний. Поэтому они и обращались исключительно к будущему, ставя целью смести все и начать на земле, обращенной в *tabula rasa*, строить наново. Движение нигилистов, со всеми его неисчислимыми последствиями, не коснулось Польши. И даже когда революционеры обоих народов приходили вроде бы к полному взаимопониманию, им так и не удавалось забыть о яблоке раздора — Белоруссии и Украине. Упрекая своих польских соратников в том, что они идут по пути Речи Посполитой, постепенно

полонизировавшей эти края, поддерживая униатскую или грекокатолическую церковь, русские говорили правду. Но правы были и поляки, упрекая теперь уже своих русских сотоварищей в замыслах русифицировать земли, языком официальных бумаг называемые — как единственно возможное и само собой разумеющееся — Западной Россией. А поскольку обе стороны признавали тамошние языки всего лишь местными диалектами, то все то дело o po man's land окончательно тонуло в зыбкости и тумане.

В начале века иные наши марксисты, увидев, что национальное чувство гасит революционные порывы и ведет к классовому миру, объявили задачей номер один переворот в масштабах всей империи и подняли голос против движения за независимость. Эта ошибка Розы Люксембург дорого обошлась ее приверженцам и наследникам. Представьте себе сегодня призыв к революции в Африке с условием, что она останется частью Франции. Социалисты „независимцы” — и среди них Пилсудский — естественно, взяли верх. Из-за безвластия своего восточного соседа Польша вышла из Первой мировой войны независимой, а война между ней и Советской Россией в 1920 году стала народной, получив поддержку польских рабочих и крестьян. (...)

Маркс, нравится нам это теперь или нет, рассуждал о „европейской цивилизации” и делил народы на „плохие” и „хорошие”. На восточных окраинах той цивилизации он помещал три народа, к которым относился с симпатией, видя в них созидателей и приверженцев свободы, — поляков, венгров и сербов. Панславизма он не переносил и — за двумя перечисленными исключениями — питал явную антипатию к славянам, всегда готовым, как он не раз говорил, служить слепым орудием тирании. Именно поэтому его статьи о международной политике производят на польских читателей действие необычайное; их мог бы написать поляк XIX века. Насколько точны оказались его тогдашние предсказания, можно убедиться и сегодня. Среди всех народов мира истинная и взаимная приязнь связывает поляков только с венграми и сербами.

Для моего поколения вес эти, уже ставшие прошлым, сложности казались туманными и далекими. Мы росли в обычном государстве, чьи блеск и нищета оставались его внутренним делом, поскольку все так или иначе решалось в Варшаве, а не где-нибудь еще. Муки, заговоры, ссылка в Сибирь поминались в учебниках и, конечно же, вызвали сочувствие, но разум подталкивал нас относиться к романтическому пафосу прошлого с известной улыбкой. Россия в мыслях присутствовала, но как-то смутно. В конце концов, спор был закончен, нас разделяли пограничные столбы, а на страже стоял запрет вдумываться, исключена ли у нас, их система. Марксизм, революция и прочее были их и только их делом. У себя пусть творят все, что заблагорассудится, нас это не трогает. Легко теперь назвать эту точку зрения глупостью, Но в ту пору она была общепринятой, а запретный порог — реальным, и всякий политик, не принявший их в расчет, совершил бы грубейшую ошибку.

В краю, зажатом между Германией и Россией, эмоциональные детерминанты складывались везде по-разному. В северо-западных и южных областях, по-прежнему числившихся в составе прусской и австрийской империй, такой детерминантой оставалась и первую очередь опора на традиционный немецкий „Drang nach Osten”. Кроме чудовищного мифа об ордено крестоносцев, немцы не имели ко мне ни малейшего касательства, языка их я не знал; при всем том армия кайзера Вильгельма не оставила по себе особенно неприятных воспоминаний в наших краях. Крутя, как многие мои соотечественники, пальцем у виска при виде крепнущего гитлеризма, я глубоко переживал скорее уж драму эпохи в целом, чем задумывался над ролью в ней этих неотличимых друг от друга марсиан. Политику я зашифровывал в космических образах. А Россия была, на первый (и только на первый!) взгляд, совершенно конкретна: памятные с детства хаос и безмерность, но прежде всего — язык. За столом в нашем бедном и темном (как я теперь понимаю) доме русский был языком юмора именно потому, что его волнующе-брутальные оттенки никакому переводу не поддавались. В переводе такой, к примеру, отрывок из Щедрина, где два сановника осыпают друг друга бранью посреди веселящегося простонародья: „И ругались так ужасно, что восторженные босяки ежеминутно кричали "ура", — попросту терял смысл. Главное, что через язык, притягивающий поляков и высвобождающий в них славянскую половину души, они интуитивно прикасались к самой сути русского: в языке было все, чему вообще стоило учиться у России. Но притягивал и вместе с тем настораживал он их — в этом, вероятно, и состоял урок — именно своей многозначностью. Нужно было втянуть воздух и нутряным басом выдохнуть: „Вырыта заступом яма глубокая”, — чтобы следом, беглым тенорком, прошебетать то же по-польски: „Wykopana szpadlem jama g&